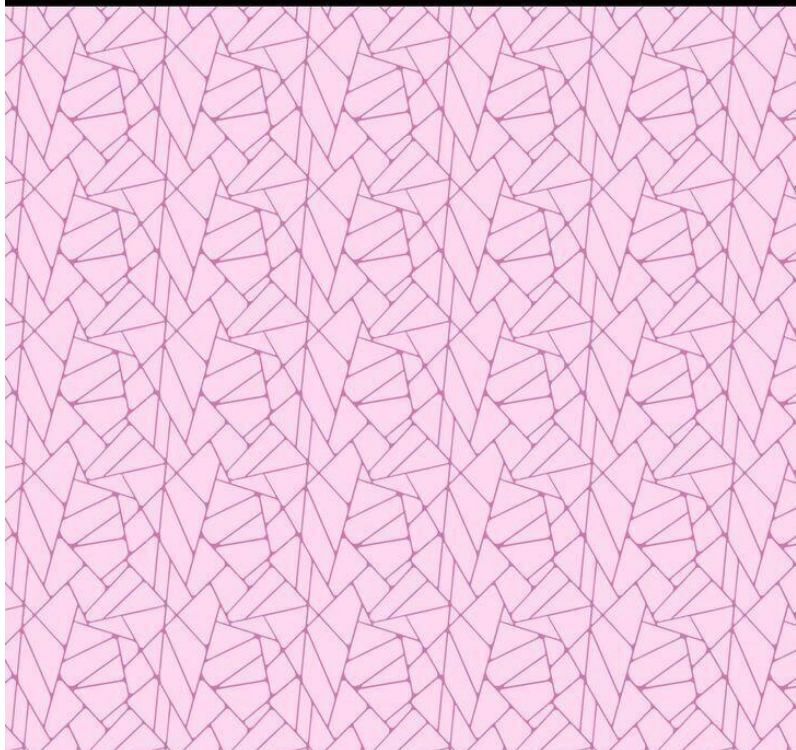


18+

ЮРИЙ ДРАЗДОВ

Некромант в белом халате. Арка 8



Юрий Драздов

Некромант в белом халате. Арка 8

<https://litres.ru/74150278>

ISBN 9785007005623

Аннотация

Он был хирургом — и стал палачом. Она была медсестрой — и стала хищницей. Вместе они пережили конец света, превратили врагов в биомассу, построили живой храм из плоти своих противников и родили дочь с двумя сердцами и глазами, видящими код реальности.

Лев Мечников, известный как Некромант, стоит на пороге превращения, которого сам боялся больше всего: его человечность упала до пятнадцати процентов, каждый день приносит новые мутации, а в голове звучит бесконечный крик Архитектора.

Содержание

Глава 1: Цена	5
— — Глава 2: Двойное эхо	45
— — Часть 1: Симптомы	47
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Некромант в белом халате. Арка 8

Юрий Драздов

© Юрий Драздов, 2026

ISBN 978-5-0070-0562-3 (т. 8)

ISBN 978-5-0070-0558-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1: Цена

Хирургия учит нас, что некоторые операции не спасают, а лишь меняют форму существования. Ампутированная конечность больше не функционирует, но может стать питательной средой для бактерий. Истощённое сердце останавливается, но его ткани могут дать начало новой клеточной культуре. Это не смерть и не жизнь — это трансмутация, где пациент становится материалом, а врач — садовником, возделывающим сад из того, что когда-то было личностью. Я знал этот принцип с первых дней ординатуры, когда мой наставник показывал мне чашки Петри с культурами, выращенными из опухолей умерших пациентов. «Видишь, Лев? — говорил он, и его голос был спокойным, почти ласковым. — Пациент ушёл, но его рак живёт. Мы не смогли спасти человека, но мы сохранили его болезнь для исследований. Такова цена прогресса». Тогда меня мутило от этих слов. Теперь — я сам стал воплощением этого принципа.

Я смотрел на свои руки и не узнавал их.

Это были не руки хирурга, которым я привык доверять безоговорочно, которые держали скальпель во время тысяч операций, которые накладывали швы на раны Леры, которые гладили Пульса по голове после тяжёлого боя. Это были ру-

ки незнакомца. Или, точнее, незнакомоего существа — существа, которое функционировало, а не жило, которое двигалось, а не чувствовало, которое существовало, а не было. В какой-то момент, незаметно для самого себя, я пересёк черту. И теперь, вглядываясь в детали собственной анатомии, я понимал: обратной дороги нет.

Пальцы, которые когда-то дрожали от неврологического расстройства — моего вечного спутника, моего наказания и напоминания о человеческой слабости, — теперь были неподвижны. Абсолютно, неестественно неподвижны. Тремор исчез. Это должно было обрадовать меня — я ждал этого месяцами, я мечтал об этом, я ненавидел свою слабость и боролся с ней всеми доступными способами. Но теперь, когда дрожь ушла, я чувствовал только холод. Потому что дрожь была частью меня — той частью, которая напоминала о моей человечности. А теперь она исчезла. Вместе с ней исчезло что-то ещё. Что-то, что я не мог назвать, но что ощущал как пустоту в груди — там, где раньше что-то болело, а теперь просто функционировало.

Ногтевые пластины — то, что от них осталось, — теперь скрывали микроскопические костяные иглы. Я обнаружил их случайно, когда попытался поднять скальпель, и кончики пальцев отреагировали раньше, чем я успел осознать команду: из-под ногтей выдвинулись тончайшие, заострённые

лезвия, длиной не более нескольких миллиметров, но достаточно острые, чтобы прорезать кожу без усилия. Это были не когти, как у Пульса или как у меня самого в боевом режиме. Это были инструменты. Хирургические инструменты, встроенные прямо в моё тело. Я мог провести операцию без скальпеля — буквально, физически, — используя собственные пальцы как режущий инструмент. Идея, которая когда-то показалась бы мне гениальной, теперь вызывала тошноту. Потому что я не просил об этом. Я не планировал этого. Это просто... произошло. Моё тело адаптировалось к новым условиям без моего сознательного участия, как организм, который больше не спрашивает разрешения у мозга, а просто функционирует по заложенной программе.

Я перевернул руки ладонями вверх. Кожа на запястьях, которая всегда была бледной, но сохраняла человеческий оттенок — тот самый, который Лера называла «цветом жизни», — теперь приобрела сероватый, полупрозрачный тон. Сквозь неё просвечивали сосуды. Не вены и артерии, наполненные кровью — с тех пор как я заменил кровь ихором, мои сосуды стали тёмными, почти чёрными. Но теперь они изменились. Ихор пульсировал в них с утроенной скоростью, и его цвет стал более насыщенным, более... агрессивным. Первородный ихор, который я использовал как оружие против Архитектора, не просто циркулировал в моём организме. Он перестраивал его. Медленно, но необратимо. Каждая

клетка моего тела постепенно заменялась новой, пропитанной древней некротической энергией, которая не признавала границ между жизнью и смертью, между человеком и мутантом, между врачом и болезнью.

Тыльная сторона ладоней покрылась мелкими чешуйками. Они были твёрдыми на ощупь, как хитиновые пластины, но гораздо тоньше и подвижнее. Когда я сгибал пальцы, чешуйки сдвигались, образуя сплошную защитную поверхность. Когда разгибал — расходились, открывая поры, через которые, как я подозревал, мог выделяться ихор или какая-то иная субстанция. Я не проверял эту гипотезу. Я боялся её подтверждения. Потому что если моё тело действительно научилось выделять ихор через поры, это означало, что я стал не просто носителем заразы. Я стал её источником. Ходячим вирусом, который может инфицировать всё, к чему прикоснётся.

Я сжал пальцы в кулак. Чешуйки сомкнулись с тихим, едва слышным шорохом, похожим на звук, который издаёт змея, скользящая по песку. Мои суставы — я чувствовал это даже без диагностики — приобрели дополнительную гибкость. Они могли сгибаться под углами, недоступными обычному человеку. Не на девяносто градусов, а дальше, как будто кости внутри моих пальцев стали полыми и могли входить друг в друга, как сегменты телескопической антенны.

Я провёл тест: согнул указательный палец в обратную сторону, ожидая боли. Боли не было. Палец согнулся под углом, который должен был разорвать сухожилия и сломать кость, но вместо этого я почувствовал лишь лёгкое натяжение — как будто моя рука говорила: «Да, я могу так. Это в пределах моей новой нормы».

Новая норма. Вот как это называлось. Не мутация. Не деградация. А адаптация. Моё тело не разрушалось — оно совершенствовалось. И именно это было самым ужасным. Если бы я превращался в бесформенного мутанта, в какую-то гротескную тварь вроде тех, что населяли Пустошь, — это было бы понятно. Это было бы естественно. Это был бы путь вниз, к хаосу и распаду. Но вместо этого я становился чем-то иным. Чем-то, что было более эффективным, более функциональным, более живучим, чем человек. И именно эта эффективность, эта холодная, расчётливая, хирургическая точность моей трансформации пугала меня больше всего.

Я подошёл к зеркалу.

Это было большое, в полный рост, зеркало в тяжёлой дубовой раме, которое Архитектор держал в своей библиотеке — вероятно, как антикварную ценность или как напоминание о старом мире. После нашей битвы зеркало уцелело, хотя его поверхность покрылась сетью мелких трещин, расхо-

дящихся от центра, как паутина от удара. Я встал напротив и заставил себя посмотреть.

Из зеркала на меня смотрел Некромант. Но не тот Некромант, которого я помнил. Не тот, кто стоял передо мной в отражении несколько месяцев назад — уставший, израненный, но всё ещё сохраняющий черты человека, который когда-то был Львом Мечниковым, хирургом, мужем, отцом нерождённой дочери. Нет, теперь в зеркале был кто-то другой. Или, точнее, что-то другое.

Мои глаза изменились. Раньше они были разными: один — обычный, человеческий, серый; второй — имплант, светящийся алым в темноте. Теперь они стали одинаковыми. Одинаково чужими. Белок исчез полностью, заменённый тёмной, почти чёрной склерой, на фоне которой пульсировали алые радужки. Зрачки вытянулись в вертикальные щели — как у Пульса, как у хищника, как у существа, которое привыкло охотиться в темноте. Я попытался расширить зрачки, проверяя, сохранилась ли у меня способность контролировать их. Зрачки расширились, но не до круглой формы, как у человека, а до овальной. Затем сузились снова — быстрее, чем я ожидал, быстрее, чем это могла сделать человеческая радужка. Реакция на свет? Нет, реакция на мои мысли. Мои глаза теперь реагировали не на внешние стимулы, а на внутренние. Они были подключены к паразитиче-

ской сети напрямую, минуя оптический нерв.

Кожа на лице, которая раньше была бледной, но всё ещё напоминала человеческую, теперь приобрела тот же прозрачный оттенок, что и на руках. Сквозь неё просвечивали сосуды с ихором — тёмные, извилистые линии, пульсирующие в такт моим сердцам. На висках, где кожа была тоньше всего, проступили хитиновые пластины — не большие, как на груди или плечах, а маленькие, аккуратные, как чешуя, покрывающая рептилию. Они начинались от линии роста волос (волосы, кстати, всё ещё были на месте — какая-то часть меня цеплялась за этот человеческий атрибут?) и уходили вниз, к скулам, где сливались с более крупными пластинами, защищавшими челюсть.

Я открыл рот. Зубы — мои зубы, которые я чистил каждое утро ещё с тех пор, когда был ординатором в городской больнице, — изменились. Они стали острее. Не как клыки вампира из старых фильмов, а как скальпели. Передние резцы заострились, приобретя форму миниатюрных лезвий. Коренные зубы, наоборот, стали более плоскими и твёрдыми — они теперь напоминали не жевательный инструмент, а маленькие наковальни. Я провёл языком по нёбу и почувствовал, что оно покрыто мелкими, едва заметными выступами — возможно, дополнительными рецепторами, возможно, началом какой-то новой структуры, которую моё тело со-

здавало без моего ведома.

Я снял плащ.

Это было трудное решение. Плащ был не просто одеждой — он был бронёй, защитой, частью моего тела в каком-то смысле. Я вшивал в него хитиновые пластины месяцами, и многие из них срослись с моей собственной кожей, превратив плащ в подобие внешнего скелета. Но теперь, когда моё тело изменилось, я должен был увидеть, что стало с моей грудью. С моими сердцами. С тем, что когда-то было моим торсом.

Плащ упал на пол с глухим стуком — он был тяжёлым, гораздо тяжелее, чем обычная ткань. Я остался стоять обнажённым по пояс перед разбитым зеркалом. И то, что я увидел, заставило меня замереть.

Моя грудь больше не была человеческой. Вообще. Хитиновые пластины, которые раньше прикрывали только область сердца — как дополнительная защита для самого важного органа, — теперь разрослись и покрывали всю грудную клетку. Они формировали естественный панцирь, состоящий из множества отдельных сегментов, соединённых гибкими сочленениями. Когда я дышал — или, точнее, имитировал дыхание, поскольку мои лёгкие не нуждались в кисло-

роде, — пластины расходились и сходились, создавая волнообразное движение, похожее на дыхание насекомого. Между пластинами виднелась кожа — полупрозрачная, натянутая, — и сквозь неё просвечивали два моих сердца.

Они бились в разных ритмах. «Берсерк» — слева, большое, с утолщёнными стенками, — сокращался медленно и мощно, как поршень, перегоняя ихор по основным сосудам. «Архивариус» — справа, компактный, с тонкими стенками, — пульсировал часто и быстро, как метроном, задавая ритм всей паразитической сети. Они работали в противофазе, и это было видно невооружённым глазом: когда «Берсерк» сжимался, «Архивариус» расширялся, и наоборот. Непрерывный цикл. Вечный двигатель, работающий на некротической энергии.

И они оба были окутаны сетью сосудов, которая разрослась далеко за пределы моей грудной клетки. От каждого сердца отходили десятки тонких, как волосы, капилляров, которые пронизывали хитиновые пластины, выходили на поверхность кожи и возвращались обратно. Это была не просто кровеносная система. Это была паразитическая сеть в её самой агрессивной, самой видимой форме — как корни дерева, проросшие сквозь камень и вышедшие наружу.

Я поднял руку и коснулся одного из капилляров на груди.

Прикосновение было... странным. Я чувствовал его с обеих сторон — и как палец, касающийся чего-то тёплого и пульсирующего, и как сам капилляр, ощущающий давление пальца. Моя нервная система изменилась настолько, что исчезла граница между органом и инструментом, между телом и его расширениями. Я больше не был организмом, состоящим из отдельных частей. Я был единой сетью, каждый узел которой был подключён ко всем остальным узлам напрямую.

— Система, — произнёс я хрипло (мой голос тоже изменился — стал ниже, глубже, с металлическим резонансом, которого не было раньше). — Полная диагностика. Параметр «Человечность». Обновить данные.

Перед моим внутренним взором вспыхнул интерфейс. Цифры побежали по виртуальному экрану, складываясь в отчёт, который я боялся прочитать.

[ДИАГНОСТИКА ЗАВЕРШЕНА.]

[ПАРАМЕТР: ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ.]

[ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ: 15%.]

[ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ (ДО ОПЕРАЦИИ «АРХИТЕКТОР»): 31%.]

[ИЗМЕНЕНИЕ: -16%.]

[ПРИЧИНА: НЕОБРАТИМАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КЛЕТОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПЕРВОРОДНОГО ИХОРА. ЗАМЕЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ТКАНЕЙ НЕКРОТИЧЕСКИМИ АНАЛОГАМИ. ИНТЕГРАЦИЯ ПАРАЗИТИЧЕСКОЙ СЕТИ ВО ВСЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА НА УРОВНЕ, ПРЕВЫШАЮЩЕМ ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ.]

[ПРОГНОЗ: ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПАДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ НЕИЗБЕЖНО ПРИ СОХРАНЕНИИ ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ АКТИВНОСТИ ПЕРВОРОДНОГО ИХОРА. ОЖИДАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ 6 МЕСЯЦЕВ: 8—10%. ЧЕРЕЗ 12 МЕСЯЦЕВ: 5—7%.]

[СТАТУС: НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ С ОСТАТОЧНЫМИ АНТРОПОМОРФНЫМИ ПРИЗНАКАМИ.]

[РЕКОМЕНДАЦИЯ: АДАПТИРОВАТЬ САМОВОСПРИЯТИЕ К НОВЫМ ПАРАМЕТРАМ. ПРОДОЛЖАТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ.]

Пятнадцать процентов.

Я прочитал это число. Затем перечитал ещё раз. Затем закрыл интерфейс и снова открыл — как будто надеясь, что Система ошиблась, что произошёл какой-то сбой, что цифры сейчас изменятся и покажут хотя бы тридцать, хотя бы двадцать пять, хотя бы что-то, что позволило бы мне называть себя человеком. Но Система не ошибалась. Она никогда не ошибалась. Она была точной, как скальпель, и безжалостной, как диагноз, который нельзя оспорить.

Пятнадцать процентов человечности. Восемьдесят пять процентов — чего-то иного. Чего-то, что не имело названия в медицинских учебниках, что не классифицировалось ни одной из известных мне таксономий. Я не был мутантом — мутанты сохраняли больше человеческого, даже те, кто превратился в «костоломов» или «сталкеров». Я не был конструктором — конструкторы были машинами, собранными из частей. Я был чем-то третьим. Чем-то, что находилось на стыке между жизнью и смертью, между человеком и инструментом, между врачом и болезнью.

И цифра пятнадцать процентов — она звучала как приговор. Медицинский, окончательный, не подлежащий обжалованию. Я потерял больше половины своей человечности. И самое страшное — я не заметил, когда именно это произошло. Не было момента, когда я бы почувствовал: «Вот сейчас я перестаю быть Львом Мечниковым и становлюсь чем-

то иным». Всё происходило постепенно, шаг за шагом, операция за операцией, битва за битвой — и теперь, глядя в зеркало, я видел конечный результат этого пути.

Я подумал о том, что сказал бы мой наставник, если бы увидел меня сейчас. Тот самый профессор, который показывал мне чашки Петри с опухолевыми культурами и говорил о цене прогресса. Узнал бы он во мне своего ученика? Увидел бы он за этими алыми глазами, за этими хитиновыми пластинами, за этой сетью сосудов, пульсирующей ихором, — того молодого ординатора, который когда-то боялся вида крови и мечтал спасти жизни? Или он просто покачал бы головой, взял бы скальпель и начал вскрытие, комментируя в диктофон: «Образец номер сорок шесть. Бывший человек. Причина трансформации — самоиндуцированная мутация. Приступаю к исследованию...»

Я сжал кулаки. Костяные иглы выдвинулись из-под ногтевых пластин и вонзились в ладони — не пробивая хитиновые чешуйки, но достаточно, чтобы я почувствовал давление. Ихор — чёрный, вязкий, пульсирующий — выступил из микроскопических ран и тут же свернулся, запечатывая повреждения. Регенерация работала быстрее, чем когда-либо. Слишком быстро. Как у существа, которое не может позволить себе болеть или страдать от ран. Как у идеального организма, спроектированного для выживания в агрессивной

среде.

Идеального. Как Архитектор.

Эта мысль пронзила меня острее любой иглы. Я поднял голову и снова посмотрел в зеркало — на существо, которое стояло передо мной. И внезапно я увидел сходство. Не внешнее — Архитектор был похож на пожилого профессора, а я... я выглядел как гибрид человека, насекомого и хирургического инструмента. Но внутреннее. Та же холодная, аналитическая отстранённость во взгляде. Та же идеальная функциональность каждой части тела — ничего лишнего, ничего бесполезного, каждая клетка настроена на максимальную эффективность. Та же отчуждённость от мира — как будто мир был не домом, а операционным столом, на котором лежали пациенты, ожидающие вскрытия.

Архитектор хотел препарировать меня, потому что видел во мне идеальный образец. Я, в свою очередь, превратил его в живой сервер, в бесконечно страдающую библиотеку, которая будет кричать столетиями, не в силах умереть. Я сделал это не из мести — так я говорил себе. Я сделал это ради данных, ради знаний, ради будущего. Это была операция, а не казнь. Исцеление, а не убийство.

Но теперь, глядя на своё отражение, я не был уверен в

этом. Потому что Архитектор тоже говорил себе, что его эксперименты — это исцеление человечества. Что создание «Нового Улья» — это не порабощение, а спасение. Что его жертвы — их тысячи, десятки тысяч, — были не жертвами, а добровольцами на алтаре прогресса. Он верил в это. Возможно, искренне верил. Так же, как я верил, что моя жестокость — это необходимость, а мои трансформации — это адаптация к враждебной среде.

Где проходила граница между нами? В какой момент врач становится палачом? В какой момент пациент становится материалом? В какой момент любовь к жене становится оправданием для превращения врагов в биологические компьютеры? И в какой момент — вот он, этот момент, я смотрю на него в зеркале, — спаситель становится новым тираном, который будет строить госпиталь на костях своих врагов и называть это прогрессом?

Крик Архитектора прорвался сквозь мои размышления, как скальпель сквозь гнилую плоть.

Это был не физический звук — я слышал его не ушами. Это был ментальный импульс, который передавался через паразитическую сеть напрямую в мой мозг. Вернее — в то, что когда-то было моим мозгом, а теперь превратилось в узел сети, распределённый между двумя сердцами, хитиновыми

пластинами и модулем «Омега» в позвоночнике. Архитектор кричал. Он кричал всё время — с того самого момента, как я закончил операцию и превратил его тело в безмерно разросшуюся биомассу, подключённую к системам «Прометей». Он кричал, когда мы сидели у камина. Он кричал, когда Майя перевязывала мои раны. Он кричал, когда я вставал и шёл к зеркалу. Его крик был постоянным, как сердцебиение, как дыхание, как пульсация ихора в сосудах — бесконечный, непрекращающийся, безнадёжный.

Но теперь этот крик изменился. Или, возможно, изменилось моё восприятие. Раньше я слышал его как шум — далёкий, раздражающий, но терпимый. Теперь, когда моя паразитическая сеть расширилась и интегрировалась в каждую клетку моего тела, я слышал его иначе. Я чувствовал его. Каждый оттенок. Каждую ноту. Каждую модуляцию бесконечной, невыразимой агонии, в которую превратилось существование Архитектора.

Он не просто кричал от боли. Боль была бы понятна — боль можно классифицировать, измерить, купировать. Нет, он кричал от осознания. Осознания того, что он стал. Осознания того, что он потерял. И осознания того, что он никогда не умрёт — потому что я, его коллега, его зеркальное отражение, позаботился о том, чтобы сохранить его в идеальном функциональном состоянии навсегда.

И самое ужасное — я чувствовал этот крик как свой собственный. Мой ихор, насыщенный первородной энергией, вибрировал на той же частоте, что и ихор Архитектора. Моя паразитическая сеть, разросшаяся до каждого органа, каждой ткани, каждой клетки, улавливала сигналы его сети, которая теперь была подключена к системам «Прометей». Мы были связаны — не так, как я был связан с Лерой, не через любовь и общую цель, а через общую субстанцию, общую мутацию, общую цену, которую мы оба заплатили за право называться совершенными.

Я чувствовал, как его биомасса растёт, пульсирует, распространяется по операционной. Я чувствовал, как его нейроны, всё ещё активные, всё ещё мыслящие, генерируют сигналы, которые никуда не идут — потому что его тело больше не может двигаться, не может говорить, не может даже закрыть глаза (у него, кажется, больше не было век). Я чувствовал, как его сознание — то, что когда-то было Архитектором, гениальным учёным, создателем «Поводка» и «Химеры», — медленно, невыносимо медленно теряет связность, распадается на фрагменты, но не может распасться до конца, потому что регенерация, запущенная первородным ихором, постоянно восстанавливает повреждённые нейронные связи.

Он был заперт в теле, которое не было телом. В разуме,

который не мог перестать мыслить. В жизни, которая не могла закончиться. И я — я, Лев Мечников, Некромант, целитель, палач, — я сделал это с ним. Не в пылу битвы. Не в припадке ярости. А хладнокровно, осознанно, хирургически точно. Я рассчитал дозу первородного ихора, я направил его через свою кровь в его инструмент, я контролировал процесс трансформации, чтобы он не убил Архитектора, а сохранил его в состоянии вечной, непрекращающейся агонии.

И тогда, в библиотеке у камина, я назвал это справедливостью. Я назвал это необходимостью. Я сказал Лере, что Архитектор — это ресурс, библиотека, источник знаний, который мы не можем позволить себе уничтожить. Но теперь, стоя перед зеркалом и глядя в свои алые, нечеловеческие глаза, я понимал: это была ложь. Удобная, рациональная, хирургически точная ложь, которой я прикрыл свой истинный мотив. Мечь. Простую, древнюю, человеческую (человеческую! какая ирония) мечь. Архитектор хотел вскрыть меня и изучить мои сердца. И в ответ я вскрыл его — не в медицинском, а в экзистенциальном смысле, — и оставил в состоянии вечного вскрытия, где он сам был и пациентом, и операционной, и инструментом.

И теперь его крик звучал во мне. Не как внешний шум, который можно заблокировать. А как внутренний резонанс. Как будто моя собственная паразитическая сеть, мой соб-

ственный первородный ихор, моя собственная трансформация отзывались на его состояние. Я чувствовал его агонию как фантомную боль — ту самую, которую я чувствовал, когда Леру ранили в бою. Только теперь эта боль не была отражением реальной раны. Она была отражением бесконечного, незаживающего, вечного страдания, которое я сам создал.

Я опёрся руками о раму зеркала. Мои пальцы — с колючими иглами, с хитиновыми чешуйками, с нечеловеческой гибкостью — оставили в древесине глубокие борозды. Я смотрел на свои руки и думал: этими руками я держал Леру, когда она была в кататонии. Этими руками я накладывал швы на её раны. Этими руками я гладил Пульса по голове. Этими руками я убивал. Этими руками я исцелял. И этими же руками я превратил живое существо — да, врага, да, чудовище, но всё же существо, способное мыслить и чувствовать, — в бесконечно страдающую биомассу.

Достоин ли я после этого называться врачом? Достоин ли я после этого называться человеком? Достоин ли я после этого той любви, которую дарит мне Лера, той преданности, которую дарит мне Пульс, того уважения, которое дарит мне Аякс, той заботы, которую дарит мне Майя?

Крик Архитектора усилился. Или, возможно, это моё восприятие обострилось настолько, что я начал различать в

этом крике отдельные... нет, не слова. Мысли. Он больше не мог формулировать слова — речевые центры его мозга были разрушены и восстановлены в искажённом виде. Но он мог думать. И его мысли, как радиосигналы, транслировались через паразитическую сеть «Прометея», доступные любому, кто был к ней подключён. То есть мне. И Лере. И, возможно, «Матери Улья», которая спала в своей пещере и видела сны, полные чужих страданий.

«Ты... ты... сделал... это... со... мной...» — пульсировало в моём сознании. Не как речь, а как поток образов. Я видел себя — такого, каким Архитектор видел меня в последние мгновения перед трансформацией. Огромного, искажённого, с алыми глазами, горящими в темноте, с когтем на левой руке и чёрным ихором, капающим из ран. Я видел себя как чудовище. Как неумолимую, безжалостную силу, которая пришла не убить, а трансформировать. Которая пришла не наказывать, а переделать под свои нужды.

«Ты... стал... мной...» — продолжал Архитектор, и в его мыслях-импульсах было что-то, чего я не ожидал. Не обвинение. Не проклятие. А... удовлетворение? Да, удовлетворение. Как будто он, даже в своём бесконечном страдании, видел в моей трансформации доказательство своей правоты. «Я... говорил... тебе... ты... моё... отражение... ты... мой... ученик... ты... повторил... мои... методы... ты...

стал... тем... что... я... создавал...»

— Замолчи, — прошептал я, и мой голос — низкий, металлический, нечеловеческий — прозвучал чужим даже для меня самого.

«Ты... не... можешь... заставить... меня... замолчать... так же... как... я... не... мог... заставить... замолчать... себя... ты... сделал... меня... частью... себя... ты... впустил... меня... в... свою... сеть... и... теперь... я... всегда... буду... здесь... напоминать... тебе... кто... ты... есть...»

Я закрыл глаза. Крик продолжался. Он проходил сквозь веки, сквозь хитиновые пластины, сквозь кости черепа — прямо в тот участок сознания, который всё ещё называл себя «я». И я понимал, что Архитектор прав. Я впустил его в себя. Когда я подключился к нему через первородный ихор, когда я направил свою сеть в его организм, чтобы контролировать процесс трансформации, — я создал канал. Двусторонний канал. И теперь он не мог закрыться. Архитектор стал частью Улья — не добровольно, как Лера, не инстинктивно, как Пульс, а насильно, как заражённый орган, который невозможно ампутировать.

И его крик — его бесконечный, непрекращающийся, агонизирующий крик — стал частью меня.

Я открыл глаза и снова посмотрел в зеркало. Алые глаза. Чёрные сосуды. Хитиновые пластины. Костяные иглы. Чешуйки. Панцирь на груди. Два сердца, пульсирующих в разных ритмах. Пятнадцать процентов человечности — и эта цифра будет падать дальше. Восемьдесят пять процентов чего-то иного — и эта цифра будет расти.

И где-то внутри этого существа — глубоко, очень глубоко, как пациент под наркозом, который не может проснуться, но продолжает видеть сны, — всё ещё существовал Лев Мечников. Тот, кто когда-то боялся вида крови. Тот, кто мечтал спасти жизни. Тот, кто полюбил медсестру в заброшенном морге и соединил с ней свою душу через свадебный ритуал. Тот, кто плакал, вырезая из неё тератому их нерождённой дочери.

Он был там. Я знал это. Но он был погребён под слоями хитина, под литрами ихора, под гигабайтами тактических протоколов и медицинских алгоритмов. И с каждым днём, с каждой операцией, с каждой битвой, с каждым использованием первородного ихора — он погружался всё глубже. Пока не останется только Некромант. Только Улей. Только функция.

Дверь библиотеки открылась.

Я не обернулся — я знал, кто это, ещё до того, как услышал шаги. Моя паразитическая сеть, расширенная и усиленная, улавливала биосигналы в радиусе всего «Прометея». Я чувствовал каждое живое существо в этом здании. Пульса, спящего в углу бывшего склада (его три сердца бились ровно и спокойно). Майю, обрабатывающую инструменты в импровизированной лаборатории (её сердце билось чаще обычного — последствия контузии). Аякса, патрулирующего периметр (его сердце было спокойно, но дыхание — настороженным, как у солдата, который не верит, что война закончилась). Санитара-4, стоящего у входа с оптическим сенсором, горящим зелёным светом (он не имел сердца в человеческом смысле, но его некро-механический насос пульсировал ровно и монотонно). Архитектора, кричащего в своей операционной-тюрьме (его сердце — одно-единственное, человеческое, — билось неровно, аритмично, как у пациента в критическом состоянии). «Мать Улья», спящую в своей пещере (её тысяча сердец билась в медленном, синхронном ритме, который напоминал дыхание океана).

И Леру. Её приближение я чувствовал особенно остро. Её сердце — насос Стрелка, который когда-то был сердцем Санитара-1, а потом стал частью её, — билось в унисон с моими двумя. Её модуль «Альфа» посылал сигналы, которые мой модуль «Омега» принимал и расшифровывал ещё до того,

как они достигали моего сознания. Она вошла в библиотеку и остановилась за моей спиной, глядя на меня — на мою обнажённую спину, покрытую хитиновыми пластинами, на мои плечи, усеянные чешуйками, на мои руки, в которых пульсировали костяные иглы.

— Ты не спал, — произнесла она. Её голос был спокойным, но через связь я чувствовал её состояние гораздо глубже, чем могли передать слова. Она была встревожена. Не напугана — Лера давно перестала бояться, — но именно встревожена. Как хирург, который видит, что состояние пациента ухудшилось, но ещё не понимает, насколько серьёзно.

— Я функционирую, — ответил я, не оборачиваясь. — Это не то же самое.

— Ты функционировал и раньше. Но тогда ты хотя бы лежал рядом со мной. А сейчас ты стоишь перед зеркалом и смотришь на себя.

— Я провожу диагностику.

— Диагностику, — повторила она, и в её голосе была та самая интонация, которую я слишком хорошо знал. Интонация, которая говорила: «Я знаю, что ты лжёшь». — И что показывает диагностика?

Я замолчал. Что я мог сказать? «Моя человечность упала до пятнадцати процентов, и будет падать дальше»? «Я превращаюсь в то, что мы уничтожили»? «Я слышу крик Архитектора внутри своей головы, и этот крик больше не кажется мне чужим»? Все эти слова были правдивы. И все они были бесполезны.

Лера подошла ближе. Я чувствовал её приближение каждым нервом, каждым капилляром, каждой клеткой, пропитанной ихором. Она встала рядом со мной — так, чтобы видеть моё лицо, но не загораживать зеркало. Теперь мы оба отражались в нём: я, обнажённый по пояс, с алыми глазами и хитиновым панцирем на груди; и она, одетая в свою обычную боевую форму, с чёрными глазами и бледным, но всё ещё человеческим лицом.

Она смотрела на меня — на моё отражение, на мои глаза, на мои руки. И я знал, что она видит. Через нашу связь она могла воспринимать не только мои мысли, но и физические ощущения. Она чувствовала холод хитиновых пластин на моей груди. Она чувствовала пульсацию ихора в моих сосудах — учащённую, неритмичную, как у пациента в лихорадке. Она чувствовала резонанс с криком Архитектора — слабый, но отчётливый, как эхо далёкого грома.

— Пятнадцать процентов, — произнёс я наконец. Мой голос прозвучал глухо, как будто он шёл не из гортани, а откуда-то из глубины грудной клетки, где пульсировали два сердца. — Так говорит Система. Пятнадцать процентов человечности. Восемьдесят пять — чего-то иного.

— Я знаю, — ответила она. — Я видела отчёт. Через связь.

— Ты видела, — повторил я. — И что ты думаешь?

— Я думаю, что цифры — это просто цифры. Они показывают количество человеческих тканей в твоём организме. Они не показывают, кто ты.

— А кто я? — Я повернулся к ней лицом. Теперь мы стояли друг напротив друга, и мои алые глаза смотрели прямо в её чёрные. — Посмотри на меня, Лера. Посмотри внимательно. Кто я? Человек? Мутант? Конструкт? Вирус? Я не знаю. Я провёл диагностику, и Система не дала мне классификацию. Она просто сказала: «Нечеловеческий организм с остаточными антропоморфными признаками». Это научный термин для «мы не знаем, что ты такое».

Лера не отводила взгляда. Она смотрела на меня так же, как смотрела всегда — прямо, спокойно, без страха. И через

связь я чувствовал её состояние. Оно было... странным. Не тревога. Не жалость. Не отвращение. А что-то иное. Что-то, что я не мог классифицировать.

— Ты хочешь знать, кто ты? — спросила она. — Ты — Лев Мечников. Мой муж. Отец Надежды. Врач, который спас мне жизнь больше раз, чем я могу сосчитать. Палач, который убивал наших врагов и называл это эффективностью. Некромант, создавший из мёртвой плоти живых существ. Улей, соединивший наши сознания в единый организм. Всё это — ты. И пятнадцать процентов человечности не отменяют этого. Они просто... добавляют новые слои.

— Новые слои, — горько усмехнулся я. — Ты говоришь как хирург. Как будто моя человечность — это опухоль, которую можно иссечь, а всё остальное — здоровая ткань, которая разрослась и заполнила пустоту.

— А разве это не так? — Она шагнула ближе и взяла мою руку. Мою правую руку — ту самую, которая дрожала раньше, а теперь была неподвижна. Ту, на которой выступили хитиновые чешуйки и из-под ногтей выглядывали костяные иглы. Она не отдёргнулась. Она не поморщилась. Она просто держала её, как держала сотни раз до этого. — Ты думаешь, я не вижу, что ты изменился? Я вижу. Я чувствую. Через связь я чувствую каждый новый капилляр в твоём теле. Каж-

дую новую пластину. Каждую новую мутацию, которую первородный ихор вызывает в твоих клетках. Я чувствую твою боль — и твоё отвращение к себе, и твой страх. И я чувствую крик Архитектора, который ты слышишь прямо сейчас.

— Ты слышишь его? — спросил я, и мой голос дрогнул — впервые за всё время.

— Да. С тех пор, как ты подключил меня к сети снова. Он кричит. Постоянно. И ты резонируешь с ним, потому что твой ихор и его ихор — одной природы.

— И тебя это не пугает?

— Пугает, — призналась она. — Пугает, что ты страдаешь. Пугает, что ты смотришь на себя и видишь чудовище. Пугает, что ты можешь решить, что единственный способ остановить трансформацию — это остановить функционирование.

Я вздрогнул. Она попала в точку — в ту точку, которую я сам ещё не осмелился сформулировать. Мысль о самоуничтожении. О том, чтобы остановить процесс до того, как человечность упадёт до нуля. До того, как я стану вторым Архитектором. Протокол «Чистый лист» всё ещё существовал в моей Системе. Я мог активировать его в любой момент.

— Ты думал об этом, — продолжила Лера, и это был не вопрос. — Я знаю. Я чувствовала это через связь, даже когда ты пытался скрыть. Ты думал: «Если я превращаюсь в Архитектора, если я становлюсь угрозой для тех, кого люблю, — я должен остановиться». Но ты не остановился. Ты стоишь здесь. Ты смотришь в зеркало. Ты анализируешь. Ты функционируешь. И это значит, что ты ещё не сдался.

— А если сдамся? — тихо спросил я.

— Тогда я буду рядом. Как была всегда. И я скажу тебе то, что говорю сейчас: я вижу в тебе человека.

— Человека? — я посмотрел на наши соединённые руки. Мои пальцы, с костяными иглами и чешуйками, лежали в её ладони. Её кожа — бледная, но человеческая, тёплая (благодаря насосу Стрелка, который гнал ихор по её сосудам), — контрастировала с моей серой, полупрозрачной кожей. — Как ты можешь видеть человека в этом?

— Потому что человек — это не количество тканей. Не процент человеческой ДНК. Не форма глаз или наличие дрожи в руках. — Она подняла мою руку и прижала её к своей груди — туда, где под слоями шрамов пульсировали три сердца. Её, «Берсерк» и «Архивариус». — Человек — это

способность любить. Способность страдать. Способность делать выбор. Ты любишь меня. Ты страдаешь от того, что сделал с Архитектором. Ты выбрал не активировать протокол «Чистый лист». И пока ты это делаешь — ты человек. Какие бы цифры ни показывала Система.

Её слова были как бальзам на рану — но рана была слишком глубока, чтобы зажить от одних слов. Я смотрел на неё, и через нашу связь я чувствовал, что она искренна. Она действительно видела во мне человека. Не чудовище. Не вирус. Не нового Архитектора. А того же Льва Мечникова, которого встретила в тоннелях метро много месяцев назад. Изменившегося — да. Трансформированного — да. Но сохранившего что-то, что она могла любить.

— Ты знаешь, что Архитектор говорил мне перед операцией? — спросил я. — Он говорил, что я — его отражение. Его ученик. Его самый успешный прототип. И теперь, когда я смотрю на себя... я думаю, что он был прав. Я использовал те же методы, что и он. Я превратил врага в страдающую биомассу, запертую в вечной агонии. Я назвал это исцелением. Но это была пытка. Просто с медицинским обоснованием.

— Да, — спокойно ответила Лера. — Ты сделал это. И это было жестоко. Возможно, более жестоко, чем всё, что мы делали раньше. Но ты сделал это не ради удовольствия. Не

ради власти. Ты сделал это, потому что Архитектор угрожал нам. Потому что он хотел вскрыть тебя и изучить твои сердца. Потому что он стоял между нами и будущим.

— Это оправдание? — спросил я.

— Нет. Это объяснение. Оправдания ищут те, кто не хочет признавать свои действия. А ты — ты признаёшь. Ты стоишь перед зеркалом и смотришь на свои руки. Ты слушаешь крик Архитектора и не блокируешь его. Ты страдаешь от того, что сделал. Это не поведение чудовища. Чудовище не страдает. Чудовище просто функционирует.

— Как Архитектор.

— Как Архитектор, — согласилась она. — Он не страдал от того, что делал. До самого конца — до того момента, как мы показали ему нашу связь, — он не чувствовал ни сожаления, ни вины. Он просто анализировал. Просто функционировал. Ты — другой. Ты чувствуешь. Слишком много, возможно. Но именно это делает тебя человеком.

Я посмотрел на наши руки — всё ещё соединённые, всё ещё прижатые к её груди. Костяные иглы под моими ногтями медленно втянулись обратно — я не контролировал это сознательно, но моё тело, кажется, реагировало на её присут-

ствие, на её прикосновение, на её слова. Чешуйки на тыльной стороне ладоней, которые были напряжены и топорщились, как у испуганного животного, теперь прилегли и стали почти незаметными. Моя трансформация не обратилась вспять — это было невозможно. Но она... замедлилась. Как будто организм, подпитываемый первородным ихором, получил сигнал: «Стоп. Пока. Мы не одни. Мы в безопасности».

— Ты чувствуешь это? — спросил я. — Чешуйки. Они расслабились.

— Чувствую, — она слабо улыбнулась. — Твоё тело реагирует на меня. Так же, как моё — на тебя. Ты думаешь, что стал чужим самому себе. Но твоё тело помнит меня. Помнит нас. Помнит Улей.

— Улей, — повторил я. — Мы создали его, чтобы стать сильнее. Чтобы защитить друг друга. Но теперь... теперь Улей включает в себя не только нас. Он включает в себя Пульса, подключённого через паразитическую сеть. Майю и Аякса, которые получают от нас регенерацию. Санитара-4, который функционирует как часть сети. «Мать Улья», которая спит в своей пещере и видит сны, связанные с нашими. И Архитектора. Его крик — это часть Улья. Часть нас. Я впустил его, не спросив тебя.

— Ты впустил его, чтобы выжить, — ответила Лера. — И чтобы сохранить данные. Это было тактическое решение. Возможно, не самое этичное. Но Улей — это не этическая конструкция. Это организм. Он поглощает и интегрирует. Иногда — добровольно, как мы с тобой. Иногда — насильно, как Архитектор. Но он всегда делает это ради выживания.

— Ты говоришь как Некромант, — заметил я.

— Я научилась у тебя, — парировала она, и её улыбка стала чуть шире. — Кроме того, кто сказал, что я не Некромант? У меня твоё сердце. Твоя кровь. Твой модуль. Я — половина Улья. Я имею право говорить как Некромант.

Я смотрел на неё — на её бледное лицо, на её чёрные глаза, на её губы, изогнутые в лёгкой усмешке. И впервые за этот бесконечный час, проведённый перед зеркалом, я почувствовал что-то кроме ужаса и отвращения к себе. Что-то тёплое. Что-то похожее на... надежду? Да, надежду. Лера всё ещё была со мной. Она всё ещё видела во мне человека. И хотя крик Архитектора продолжал звучать в моём сознании, хотя мой иxor всё ещё пульсировал первородной энергией, хотя мои руки были руками незнакомца, — я не был один. И это меняло всё.

— Ты помнишь, как мы впервые встретились? — спросил я.

— В тоннелях, — ответила она. — Ты вышел из темноты с алыми глазами и сказал: «Не бойтесь. Я врач». Я подумала. «Врач с такими глазами? Он, наверное, шутит».

— Я не шутил.

— Я знаю. — Она взяла мою вторую руку и теперь держала обе. Её пальцы — холодные, но живые — переплелись с моими. — Ты был врачом тогда. Ты врач сейчас. Ты всегда будешь врачом. Не потому что так говорит Система. А потому что ты не можешь иначе. Даже когда ты превращаешь врагов в биомассу — ты делаешь это с точностью хирурга. Даже когда ты слышишь крик Архитектора — ты анализируешь его как симптом. Ты не можешь перестать быть врачом. Это твоя суть. И этого у тебя не отнимут никакие мутации.

Я поднёс её руки к своему лицу. К своему изменившемуся, нечеловеческому лицу с алыми глазами и хитиновыми пластинами на висках. И поцеловал её пальцы — те самые, которые когда-то держали скальпель в морге, те самые, которые накладывали швы на мои раны, те самые, которые гладили мою щёку, когда я просыпался от кошмаров.

— Я люблю тебя, — сказал я. Это были простые слова. Я говорил их сотни раз. Но сейчас они звучали иначе — тяжелее, глубже, как будто я вкладывал в них всё, что осталось от моей человечности. Все пятнадцать процентов.

— Я знаю, — ответила она. — И я люблю тебя. Со всеми твоими процентами. Со всеми твоими мутациями. Со всей твоей жестокостью и нежностью. Я люблю тебя, Лев Мечников. И я не перестану, даже если твоя человечность упадёт до нуля. Потому что для меня ты — не цифра. Ты — это ты.

Она привстала на цыпочки и поцеловала меня в губы. Это не было некротическим причастием — она не передавала энергию. Это был обычный поцелуй. Человеческий. Тёплый. И через нашу связь я почувствовал то, что она чувствовала: нежность. Принятие. Решимость. И любовь — ту самую, которая не укладывалась ни в какие протоколы, но была реальнее любой операции.

Когда она отстранилась, я снова посмотрел в зеркало. Из зеркала на меня смотрело то же существо, что и раньше. Алые глаза. Хитиновые пластины. Паутина сосудов, пульсирующих ихором. Ничего не изменилось. И в то же время изменилось всё. Потому что теперь рядом с этим существом стояла она — Лера, моя жена, моя пара, моя половина Улья. Её отражение было спокойным, почти безмятежным. Её чёр-

ные глаза смотрели на меня с выражением, которое я мог бы назвать гордостью. И её рука лежала в моей — шрам к шраму, как всегда.

— Ты сказала, что я выбрал не активировать протокол «Чистый лист», — произнёс я. — Это правда. Но я выбираю не только это. Я выбираю другое. Я выбираю построить госпиталь. Не для монстров. Не для людей. Для всех, кто хочет исцелиться. Для таких, как мы. Потерянных. Изменённых. Забытых.

— Госпиталь, — повторила она, и на её губах появилась улыбка. — Ты говорил об этом раньше. Но тогда это была просто идея. А теперь?

— А теперь это план. — Я повернулся к ней лицом, всё ещё держа её руки в своих. — «Прометей» — огромное здание. В нём есть лаборатории, операционные, жилые помещения, системы жизнеобеспечения. Здесь можно разместить сотни пациентов. Может быть, тысячи. Мы используем данные Архитектора — те, что хранятся в его мозге, — чтобы понять, как обратить мутации вспять. Или, по крайней мере, как стабилизировать их. Мы используем «Мать Улья» — когда она исцелится, — чтобы создать новые нейро-спинальные сети, которые не подавляют волю, а усиливают её. Мы создадим место, где любой выживший сможет получить по-

мощь. Не важно, мутант он, киборг или обычный человек.

— А Архитектор? — спросила Лера. — Его крик?

— Его крик станет нашим напоминанием. — Я посмотрел в сторону операционной, где пульсировала биомасса. — О том, какую цену мы платим за выбор. О том, что эффективность — это не всё. О том, что даже самый гениальный ум может стать чудовищем, если откажется от человечности. Мы не будем блокировать его крик. Мы будем слушать его. И каждый раз, когда кто-то из нас — я, ты, любой врач в этом госпитале — захочет пойти по пути Архитектора, по пути чистой функциональности, этот крик напомнит: вот что ждёт в конце. Не триумф. Не совершенство. А бесконечная, невыразимая агония в одиночестве.

Лера долго смотрела на меня. Затем медленно кивнула.

— Это амбициозный план, — сказала она. — Возможно, слишком амбициозный. Но я не ожидала меньшего от тебя. — Она сделала паузу, и её лицо стало серьёзным. — Ты понимаешь, что это не искупит того, что мы сделали? Госпиталь не вернёт к жизни тех, кого мы убили. Не снимет с нас вину за пытки. За жестокость. За превращение Архитектора в... это.

— Понимаю, — ответил я. — Искупление — это не сделка. Нельзя обменять добрые дела на прощение за злые. Но можно выбрать направление. Мы были разрушителями. Мы были палачами. Мы были вирусом, который уничтожал всё на своём пути. Теперь мы будем строителями. Врачами. Исцелителями. Не потому что это сотрёт прошлое. А потому что это — будущее, которое мы хотим создать.

— Тогда я с тобой, — просто сказала она. — Как всегда.

— Как всегда, — согласился я.

Мы стояли перед разбитым зеркалом, держась за руки, и смотрели на свои отражения. Два существа — модифицированных, изменённых, потерявших большую часть человечности, — но всё ещё способных любить. Всё ещё способных выбирать. Всё ещё способных надеяться.

Где-то глубоко в «Прометее», в операционной, которая стала одновременно сокровищницей и тюрьмой, Архитектор продолжал свой бесконечный крик. Я слышал его. Всегда буду слышать. Но теперь этот крик звучал не как обвинение. Не как насмешка. А как напоминание. Как урок. Как предостережение, написанное на стене кровью и ихором.

«Вот что случается с теми, кто забывает о человечности».

Я поднял свою правую руку — ту, которая раньше дрожала, а теперь была неподвижна, — и посмотрел на неё. Костяные иглы втянулись. Чешуйки прилегли. Кожа всё ещё была полупрозрачной, и сквозь неё просвечивали тёмные сосуды с ихором. Но теперь я видел в этой руке не только оружие. Не только инструмент. Не только симптом трансформации. Я видел руку врача. Руку, которая будет держать скальпель. Накладывать швы. Гладить Пульса по голове. Обнимать Леру. Руку, которая построит госпиталь.

— Пятнадцать процентов, — произнёс я задумчиво. — Интересно, что скажет Система, когда мы начнём принимать пациентов? Может быть, процент человечности начнёт расти?

— Может быть, — ответила Лера. — А может быть, упадёт до пяти. Но это неважно. Потому что цифры — это просто цифры. А ты — это ты.

Она положила голову мне на плечо, и мы стояли так, глядя в зеркало. В отражении — два существа из ночных кошмаров. Хитиновые пластины. Алые и чёрные глаза. Шрамы, пересекающие кожу как карты давно забытых битв. И, где-то глубоко внутри, под слоями мутаций и имплантов, — что-то, что всё ещё называло себя людьми.

Крик Архитектора продолжался. Но теперь я слышал его иначе. Не как резонанс собственной агонии. А как гимн. Мрачный, бесконечный, пугающий гимн тому, что мы оставили позади. И обещание того, что мы никогда не станем.

— — Глава 2: Двойное эхо

Хирургия учит нас, что самая сложная операция — не первая и даже не сотая. Самая сложная операция — та, которую ты делаешь после того, как предыдущая закончилась катастрофой. Когда руки помнят не триумф исцеления, а текстуру удалённой опухоли, которая должна была стать ребёнком. Когда ты снова берёшь в руки УЗИ-датчик, а твоя правая рука, которая больше не дрожит, дрожит от страха. Мы пережили конец света. Мы победили Архитектора. Мы начали строить госпиталь. Но ничто не подготовило меня к новости, которую сообщит этот аппарат.

Я помнил ту операцию до мельчайших деталей. Каждое движение скальпеля. Каждую каплю ихора, упавшую на пол операционной. Каждый звук, который издавала Лера — не крики, она не кричала, она никогда не кричит от боли, — а те тихие, почти беззвучные выдохи, которые были страшнее любого крика. Я помнил, как мои пальцы, ещё человеческие, ещё дрожащие от неврологического расстройства, извлекли из неё сгусток мутировавшей плоти — тератому, которая должна была стать нашим сыном. Я помнил, как посмотрел на этот сгусток и увидел в нём не опухоль, а ребёнка. Нашего нерождённого ребёнка, которого мы зачали в мире, где у детей не было шансов.

И я помнил, что сказал Лере после операции. «Мы не сможем иметь детей. Твоя репродуктивная система повреждена мутациями. Моя — ихором. Это конец нашей генетической линии». Она ничего не ответила тогда. Просто закрыла глаза и ушла в кататонию — на те самые долгие дни, когда я думал, что потерял её навсегда.

Теперь, спустя месяцы, спустя десятки битв, спустя смерть и воскрешение, спустя превращение Архитектора в вечно кричащую биомассу, — теперь я стоял перед дверью нашей комнаты и боялся войти. Потому что я чувствовал через нашу связь то, что чувствовала Лера. И это чувство было мне знакомо. Слишком знакомо. Я испытывал его однажды — в морге, когда мы проводили наш свадебный ритуал. Тогда это было предчувствие катастрофы. Теперь — предчувствие чуда.

И я не знал, что страшнее.

— — Часть 1: Симптомы

Это началось три недели назад. Или, возможно, раньше — просто я, погружённый в работу по преобразованию «Прометей», не замечал очевидного. Моя паразитическая сеть, расширенная и усиленная первородным ихором, фиксировала тысячи биосигналов каждую секунду. Я знал, когда у Майи повышалось давление (после каждой перевязки тяжёлых раненых). Я знал, когда Аякс просыпался от ночных кошмаров (примерно в три часа ночи, всегда в одно и то же время). Я знал, когда Пульс, бегущий по коридорам «Прометей», находил что-то интересное (его сердцебиение ускорялось на двенадцать процентов). И я знал каждое изменение в организме Леры — или думал, что знал.

Первый симптом я пропустил. Просто не придавал значения. Лера отключила связь на семнадцать минут. Это произошло утром, когда я работал в операционной, переоборудованной под лабораторию. Я как раз изучал образцы тканей Архитектора — те самые, которые взял у него до того, как его тело окончательно разрослось и поглотило половину бывшей операционной. Мои пальцы, теперь украшенные костяными иглами, держали пинцет с микроскопической точностью. Я был сосредоточен. Я был в клиническом режиме. И всё же, когда связь с Лерой прервалась, я почувствовал это.

Это было похоже на удар под дых. Не физический — ментальный. Пустота в том участке сознания, где всегда пульсировал её сигнал. Модуль «Омега» в моём позвоночнике зафиксировал отключение и выдал предупреждение. Я отложил пинцет и потянулся к связи, чтобы восстановить её, но она уже вернулась. Так же внезапно, как исчезла.

— Лера, — произнёс я через связь. — Ты отключалась.

— Да, — ответила она. Её мысленный голос был спокойным, но в нём была какая-то новая нота. Я не мог её идентифицировать. — Мне нужно было побыть одной.

— Зачем? Что-то случилось?

— Ничего. Просто... нужно было подумать.

Это было странно. Лера никогда не отключалась. Даже в самые тёмные дни после кататонии, когда её сознание только начинало возвращаться, она держала связь открытой. Мы были Ульем — единым организмом, разделённым на два тела. Отключение для нас было противоестественным. Это было как если бы ваша правая рука вдруг решила, что ей нужно побыть одной.

Но я не стал давить. Я доверял ей. Всегда доверял. Если она сказала, что ей нужно подумать, — значит, так и было. Я вернулся к изучению образцов Архитектора и постарался забыть об этом инциденте.

Второй симптом я тоже пропустил. Вернее, я его зафиксировал, но неправильно интерпретировал. Это случилось через два дня после первого отключения. Мы ужинали в бывшей библиотеке Архитектора — теперь это была наша общая комната, где мы собирались после долгого дня. Майя приготовила еду из концентратов, которые мы нашли на складах «Прометей». Аякс, сидя у камина, рассказывал о патрулировании периметра. Пульс лежал у моих ног и грыз какую-то кость, найденную в подвалах. Всё было как обычно.

Кроме одного. Лера не прикоснулась к еде.

— Ты не голодна? — спросил я, кивая на её нетронутую тарелку.

— Не хочется, — ответила она. — Станный вкус.

— Вкус нормальный, — заметила Майя. — Концентраты стандартные. Мы едим их уже месяц.

— Знаю. Просто... не хочется.

Я посмотрел на неё внимательнее. Имплант-глаз автоматически провёл диагностику: температура тела в норме, пульс стабильный, уровень ихора в сосудах — стандартный. Никаких признаков болезни. Никаких отклонений. И всё же что-то было не так. Что-то в её позе. Что-то в том, как она смотрела на еду — не с отвращением, а с какой-то отстранённостью. Как будто её тело отвергало концентраты на каком-то глубинном, инстинктивном уровне.

— Система, — произнёс я мысленно, чтобы не тревожить остальных. — Полная диагностика носителя «Лера».

[ЗАПРОС ВЫПОЛНЕН. НОСИТЕЛЬ «ЛЕРА»: ВСЕ ПОКАЗАТЕЛИ В НОРМЕ. ОТКЛОНЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО.]

— Никаких отклонений, — сказал я вслух.

— Я же говорила, — Лера слабо улыбнулась. — Просто странный вкус.

Я кивнул и продолжил есть. Но где-то глубоко внутри — там, где всё ещё сохранялся врач, обученный замечать детали, — зажглась тревожная лампочка. Я проигнорировал её. Решил, что это просто усталость. Мы все устали. Месяцы бо-

ёв, потерь, трансформаций — они не проходят бесследно. Даже для Улья.

Третий симптом я заметил, но снова не придал значения. Через пять дней после первого отключения Лера уснула днём. Просто легла на кровать в нашей комнате и отключилась на два часа. Это было ненормально. Её модуль «Альфа» контролировал циклы сна с точностью до минуты. Четыре часа в сутки, не больше и не меньше. Режим пониженной активности, который она могла активировать в любой момент, но никогда не делала этого без необходимости. А тут — два часа днём, без предупреждения, без объяснения.

Я вошёл в комнату и увидел её спящей. Она лежала на боку, поджав колени к груди, и дышала глубоко и ровно. Её лицо, обычно напряжённое и сосредоточенное, было расслабленным. Почти безмятежным. Я стоял и смотрел на неё несколько минут. Моя правая рука — та самая, которая теперь была неподвижна, — слегка дрогнула. Не от неврологии. От чего-то иного. От предчувствия.

Я подошёл к кровати и сел рядом. Через связь, которая была открыта (теперь она всегда была открыта), я чувствовал её состояние. Сон. Глубокий, спокойный сон без сновидений. Но под этим слоем покоя пульсировало что-то ещё. Что-то, что я не мог идентифицировать. Какой-то новый ритм.

Слабый, едва уловимый, но постоянный. Как будто внутри неё билось что-то маленькое. Что-то живое.

Я отмёл эту мысль. Это невозможно. Я сам проводил операцию. Я сам удалил тератому. Я сам сказал Лере, что детей у нас не будет. Моя репродуктивная система была разрушена ихором. Её — мутациями. Мы были бесплодны. Это был медицинский факт, подтверждённый десятками диагностик. Я не мог ошибиться. Я никогда не ошибался в диагнозах.

Если бы.

Четвёртый симптом я уже не мог игнорировать. Это случилось через десять дней после первого отключения. Я работал в лаборатории, изучая нейро-спинальную сеть Архитектора — ту самую, которую я извлёк из его биомассы до того, как она окончательно разрослась. Лера была в соседней комнате — она помогала Майе сортировать медицинские инструменты, которые мы нашли на складах «Прометей». Между нами была стена толщиной в полметра. И связь, которая передавала всё.

И вдруг я почувствовал тошноту. Не свою — её. Резкий, внезапный приступ тошноты, который заставил Леру прервать работу и прислониться к стене. Через связь я ощутил спазм в её желудке, холодный пот на лбу, слабость в ногах.

Это длилось несколько секунд, а затем отпустило так же внезапно, как началось.

— Что это было? — спросил я через связь, уже направляясь к двери.

— Ничего, — ответила она, но её мысленный голос был напряжённым. — Просто... головокружение.

— Это не головокружение. Это тошнота. Я чувствовал её.

— Ты чувствовал, — согласилась она. — Но это ничего. Уже прошло.

Я вошёл в комнату. Лера стояла у стола, на котором были разложены инструменты. Её лицо было бледным — более бледным, чем обычно. Её руки, державшие скальпель, слегка дрожали. Майя стояла рядом с обеспокоенным выражением лица.

— Лера, — произнёс я, подходя ближе. — Это не «ничего». Тошнота. Дневная сонливость. Отказ от еды. Отключение связи. Ты что-то скрываешь.

— Я ничего не скрываю, — ответила она, но её глаза — чёрные, глубокие, — избегали моего взгляда.

— Тогда посмотри на меня и скажи, что ты в порядке.

Она посмотрела. Долго, пристально, не отводя глаз. И через нашу связь я почувствовал то, что она чувствовала. Страх. Не тот страх, который возникает перед боем — острый, мобилизующий. А другой. Глубинный, экзистенциальный страх. Страх надежды. Страх поверить в чудо и снова его потерять.

— Я не знаю, в порядке ли я, — тихо произнесла она. — Я не знаю, что со мной. Но я... я чувствую что-то. Что-то, чего не чувствовала с тех пор, как...

Она замолчала. Но я уже понял. Мои глаза — алые, нечеловеческие, — расширились. Имплант-глаз автоматически провёл экспресс-диагностику. И на этот раз я обратил внимание на параметр, который раньше игнорировал.

Гормональный фон. Он был изменён. Не критически — стандартные протоколы Системы не считали это отклонением. Но я был врачом. Я знал, что означает повышенный уровень хорионического гонадотропина. Знал, что означает перестройка метаболизма. Знал, что означает всё это вместе.

Но я не мог поверить. Отказывался верить. Потому что

если это правда — если это действительно то, о чём я думаю, — значит, я ошибся в своём диагнозе. А я никогда не ошибался в диагнозах.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.